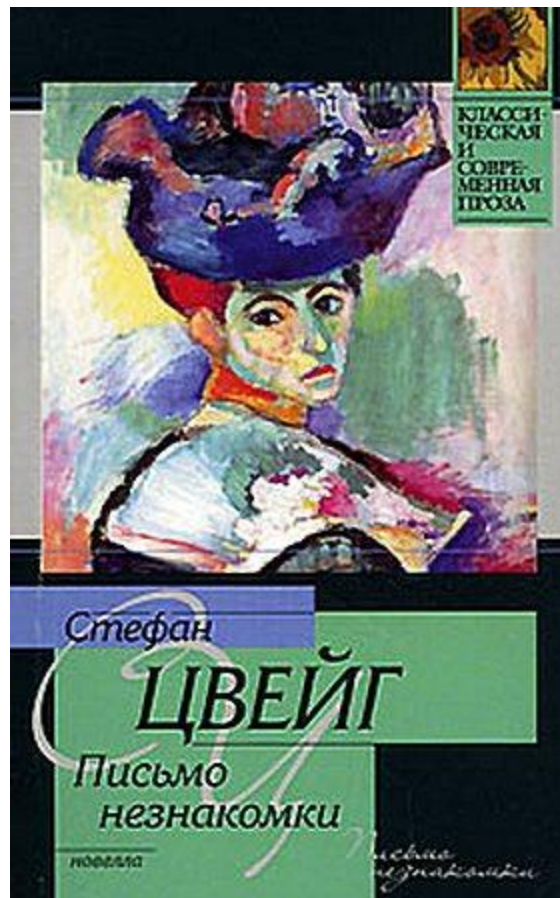


**Стефан Цвейг**  
**Письмо незнакомки**



**Стефан Цвейг**  
**Письмо незнакомки**

Когда известный беллетрист Р. после трёхдневной поездки для отдыха в горы, возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый, — быстро сообразил он, и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителей, о нескольких вызовах по телефону и принёс на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, вскрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилией отправителя; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объёмистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он ещё раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо.

В нём оказалось около тридцати страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным, скорее рукопись, чем письмо. Р.

невольно ещё раз ощупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки. Но конверт был пуст, и на нём, так же как и на самом письме не было ни имени, ни адреса отправителя. Странно, подумал он, и снова взял в руки письмо. «Тебе, никогда не знавшему меня», – с удивлением прочёл он не то обращение, не то заголовок... К кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нём проснулось любопытство. И он начал читать.

Мой ребенок вчера умер – три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь; сорок часов, пока его бедное горячее тельце металось в жару, я не отходила от его постели. Я клала лёд на его пылающий лобик, днём и ночью держала в своих руках беспокойные маленькие ручки. На третий день к вечеру силы изменили мне. Глаза закрывались помимо моей воли. Три или четыре часа я проспала, сидя на жёстком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я увидела его, когда проснулась; только глаза ему закрыли, его умные, тёмные глазки, сложили ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырём углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что пламя свечей колеблется и тени пробегают по его личику, по сжатым губам, и тогда кажется, что его черты оживают, и я готова поверить, что он не умер, что он сейчас проснётся и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь детское, ласковое. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать сладость надежды и горечь разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер, – теперь у меня на свете только ты, беспечно играющий жизнью, не подозревающий о моём существовании. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила.

Я зажгла пятую свечу и поставила её на стол, за которым я тебе пишу. Я не могу остаться одна с моим умершим ребёнком и не кричать о своём горе, а с кем же мне говорить в эту страшную минуту, если не с тобой, ведь ты и теперь, как всегда, для меня всё! Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой, может быть, ты не поймёшь меня – мысли у меня путаются, в висках стучит и всё тело ломит. Кажется, у меня жар; может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадётся от дома к дому, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребёнком и всё сделалось бы само собой. Иногда у меня темнеет в глазах, я, может быть, не допишу даже до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня.

С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе всё; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну, только если я умру, – чтобы тебе не пришлось отвечать мне, – только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца. Если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчала. Но если ты держишь его в руках, то

знай, что в нём умершая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от её первого до её последнего сознательного часа. Не бойся моих слов, – мёртвая не потребует ничего, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти своего единственного ребёнка.

Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала, какой-то пропылённый, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живёшь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо – это последнее дыхание моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, скромную вдову чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка, – мы ведь всегда держались в тени, замкнувшись в своём скудном мещанском существовании. Ты, может быть, никогда и не слышал нашего имени, потому что на нашей двери не было дощечки и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый; но я – о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя, и как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир! Позволь, любимый, рассказать тебе всё, с самого начала, подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя.

Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяница и колотил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, вся в крови, простоволосая, на лестницу; пьяный с криком преследовал её, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми, а они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, а однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и, когда вдруг что-то случилось, – кажется, муж попал в тюрьму за кражу и они со своим скарбом должны были выехать, – мы все облегчённо вздохнули. Два-три дня на воротах висело объявление о сдаче в наём, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-то писатель, одинокий, солидный господин. Тогда я в первый раз услышала твое имя.

Ещё через два-три дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленной её прежними обитателями.

Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли, но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. Тебя самого мне во время переезда ещё не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распорядившийся деловито и без шума. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас, на окраине, был редкостным явлением, и ещё потому, что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме, и даже ко мне, девчонке, относился приветливо и серьёзно. Твое имя он произносил всегда с каким то особенным уважением, почти благоговейно, и сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И как я потом любила за это славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе!

Я потому рассказываю тебе всё это, любимый, все эти до смешного мелкие пустяки, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребёнком, каким была я. Ещё раньше чем ты вошёл в мою жизнь, вокруг тебя уже создавался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны; всё мы, в нашем маленьком домике на окраине, нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты ведь знаешь, как любопытны люди, живущие в маленьком, тесном мирке. И как разгорелось моё любопытство к тебе, когда однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед домом фургон с мебелью! Большую часть тяжёлых вещей носильщики уже подняли наверх и теперь переносили отдельные, более мелкие предметы; я остановилась у двери, чтобы всё это видеть, потому что все твои вещи чрезвычайно изумляли меня – я таких никогда не видала: тут были индийские божки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины, и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не верила. Их складывали столбиками у двери, там слуга принимал их и каждую заботливо обмахивал метёлкой. Сгорая от любопытства, бродила я вокруг всё растущей груды; слуга не отгонял меня, но и не поощрял, поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплётах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки – тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я часами могла бы любоваться ими, но мать позвала меня в дом.

И вот, ещё не зная тебя, я весь вечер думала о тебе. У меня самой был только десяток дешёвых книжек в истрёпанных бумажных переплётах, которые я все очень любила и постоянно перечитывала. Меня страшно занимала мысль, каким же должен быть человек, который прочёл столько прекрасных книг, знает столько языков, который так богат и в то же время так образован. Мне казалось, что таким учёным может быть только какое-нибудь сверхъестественное существо. Я пыталась мысленно нарисовать твой портрет; я воображала тебя стариком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя

географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но даже когда ты ещё представлялся мне стариком, я уже была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, ещё не зная тебя, я в первый раз видела тебя во сне.

На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось посмотреть на тебя, и это ещё больше возбудило моё любопытство. Наконец, на третий день, я увидела тебя, и как же я была поражена, когда ты оказался совсем другим, ничуть не похожим на образ «боженьки», созданный моим детским воображением. Я грезил о добродушном старце в очках, и вот явился ты – ты, точно такой, как сегодня, ты, не меняющийся, на ком годы не оставляют следов! На тебе был восхитительный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой, юношеской походкой, прыгая через две ступеньки, поднимался по лестнице. Шляпу ты держал в руке, и я с неописуемым изумлением увидела твоё юное оживленное лицо и светлые волосы. Уверю тебя – я прямо испугалась, до того меня потрясло, что ты такой молодой, красивый, такой стройный и изящный. И разве не странно: в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что и меня и всех других всегда так поражало в тебе, – твою двойственность: ты – пылкий, легкомысленный, увлекающийся игрой и приключениями юноша и в то же время в своём творчестве неумолимо строгий, верный долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я безотчётно поняла, как понимали все, что ты живёшь двойной жизнью: своей яркой, пёстрой стороной она обращена к внешнему миру, а другую, тёмную, знаешь только ты один; это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бытия я, тринадцатилетняя девочка, замороженная тобой, ощутила с первого взгляда.

Понимаешь ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой стал ты для меня, полуребёнок! Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в чуждом мне большом мире, вдруг оказался молодым, юношески-весёлым двадцатипятилетним щёголем! Нужно ли говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всём моем скудном детском мирке меня ничто больше не занимало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством тринадцатилетней девочки думала только о тебе, о твоей жизни. Я изучала тебя, изучала твои привычки, приходивших к тебе людей, и всё это не только не утоляло моего любопытства, но ещё усиливало его, потому что двойственность твоя отчётливо отражалась в разнородности твоих посетителей. Приходили молодые люди, твои приятели, с которыми ты смеялся и шутил; приходили оборванные студенты; а то подъезжали в автомобилях дамы; однажды явился директор оперного театра, знаменитый дирижер, которого я только издали видела с дирижерской палочкой в руках; бывали молоденькие девушки, ещё ходившие в коммерческую школу, которые смущались и спешили поскорее юркнуть в дверь, вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже после того, как однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя даму под

густой вуалью. Мне ведь было только тринадцать лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, уже означало любовь.

Но я знаю, любимый, совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Возвратившись с прогулки, я и моя школьная подруга, болтая, стояли у подъезда. В это время подъехал автомобиль, и не успел он остановиться, как ты, со свойственной тебе быстротой и гибкостью движений, которые и сейчас ещё пленяют меня, соскочил с подножки. Невольно я бросилась к двери, чтобы открыть её для тебя, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня тёплым, мягким, обволакивающим взглядом и ласково улыбнулся мне – да, именно ласково улыбнулся мне и негромко сказал дружеским тоном: «Большое спасибо, фройляйн».

Вот и всё, любимый; но с той самой минуты, как я почувствовала на себе твой мягкий, ласковый взгляд, я была твоя. Позже, и даже очень скоро, я узнала, что ты даришь этот обнимающий, зовущий, обволакивающий и в то же время раздевающий взгляд, взгляд прирожденного соблазнителя, каждой женщине, которая проходит мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, которая открывает тебе дверь, – узнала, что этот взгляд не зависит от твоей воли и не выражает никаких чувств, а лишь неизменно сам собой становится тёплым и ласковым, когда ты обращаешь его на женщин. Но я, тринадцатилетний ребенок, этого не подозревала, – меня точно огнём опалило. Я думала, что эта ласка только для меня, для меня одной, и в этот миг во мне, подростке, проснулась женщина, и она навек стала твоей.

– Кто это? – спросила меня подруга.

Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твоё имя: в этот миг оно уже стало для меня священным, стало моей тайной.

– Просто один из жильцов нашего дома, – неловко пробормотала я.

– Почему же ты так покраснела? – с детской жестокостью злорадно засмеялась подруга.

И потому что она, издеваясь надо мной, коснулась моей тайны, кровь ещё горячее прилила к моим щекам. От смущения я ответила грубостью и крикнула:

– Дура набитая! – Я готова была её задушить, но она захохотала ещё громче и насмешливее; наконец, слёзы бессильного гнева выступили у меня на глазах. Я повернулась к ней спиной и убежала наверх.

С этого мгновения я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, своему баловню, эти слова. Но поверь мне, никто не любил тебя с такой рабской преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на свете не может сравниться с потаённой любовью ребёнка, такой непритязательной, беззаветной, такой покорной, настороженной и пылкой, какой никогда не бывает требовательная и – пусть бессознательно – помогающая взаимности любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаить в себе свою страсть, другие выбалтывают своё чувство подругам, притупляют его

признаниями, — они часто слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они тешатся ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчишки своей первой выкуренной папиросой. Но я — у меня не было никого, кому бы я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, я была неопытна и наивна; я ринулась в свою судьбу, как в пропасть. Всё, что во мне бродило, всё, что зрело, я поверяла только тебе, только образу моих грёз; отец мой давно умер, от матери, с её постоянной озабоченностью бедной вдовы, живущей на пенсию, я была далека, легкомысленные школьные подруги отталкивали меня, потому что они беспечно играли тем, что было для меня высшей страстью, — и всё то, что обычно дробится и расщепляется в душе, все свои подавляемые, но нетерпеливо пробивающиеся чувства устремились к тебе. Ты был для меня — как объяснить тебе? любое сравнение, взятое в отдельности, слишком узко, — ты был именно всем для меня, всей моей жизнью. Всё существовало лишь постольку, поскольку имело отношение к тебе, всё в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой в классе; я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, что ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и я ужасно страдала от четырехугольной заплатки на моем школьном переднике, перешитом из старого платья матери. Я боялась, что ты заметишь эту заплатку и станешь меня презирать, поэтому, взбегая по лестнице, я всегда прижимала к левому боку сумку с книгами и тряслась от страха, как бы ты всё-таки не увидел этого изъяна. Но как смешон был мой страх — ведь ты никогда, почти никогда на меня не смотрел!

И всё же: я весь день только и делала, что ждала тебя, подглядывала за тобою. В нашей двери был круглый, в медной оправе, глазок, сквозь который можно было видеть твою дверь. Это отверстие — нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь проведённых возле него часов! — было моим окном в мир; там, в ледяной прихожей, боясь, как бы не догадалась мать, я просиживала в засаде, с книгой в руках, целые вечера. Я была словно натянутая струна, начинавшая дрожать при твоём приближении. Я никогда не оставляла тебя; неотступно, с напряжённым вниманием следила за тобой, но для тебя это было так же незаметно, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые во мраке терпеливо отсчитывают и отмеряют твои дни и сопровождают тебя на твоих путях неслышным биением сердца, а ты лишь в одну из миллионов отстукиваемых ими секунд бросаешь на них беглый взгляд. Я знала о тебе всё, знала все твои привычки, все твои галстуки, все костюмы; я знала и скоро научилась различать всех твоих знакомых, я делила их на тех, кто мне нравился, и на тех, кого ненавидела; с тринадцати до шестнадцати лет я жила только тобой. Ах, сколько я делала глупостей! Я целовала ручку двери, к

которой прикасалась твоя рука, я подобрала окурок сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы. По вечерам я сотни раз под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет, и сильнее ощутить твоё незримое присутствие. А во время твоих отлучек, – у меня сердце сжималось от страха каждый раз, когда я видела славного Иоганна спускающимся вниз с твоим жёлтым чемоданом, – моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл. Угрюмая, скучающая, злая, слонялась я по дому, в вечном страхе, как бы мать по моим заплаканным глазам не заметила моего отчаяния.

Я знаю: всё, что я тебе рассказываю, – смешные ребячливые выходки. Мне следовало бы стыдиться их, но я не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем в то далёкое время детских восторгов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не зная твоё лицо, потому что при встречах на лестнице я, страшаясь твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, словно человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы развернуть перед тобой полный календарь твоей жизни; но я не хочу докучать тебе, не хочу тебя мучить. Я только ещё расскажу тебе о самом радостном событии моего детства, и, прошу тебя, не смейся надо мной, потому что как оно ни ничтожно – для меня, ребёнка, это было бесконечным счастьем. Случилось это, вероятно, в один из воскресных дней; ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квартиры только что выколоченные им тяжёлые ковры. Старику было трудно, и я, внезапно расхрабрившись, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь? Он удивился, но не отверг мою помощь, и таким образом я увидела – если бы только я могла выразить, с каким почтением, с каким благоговейным трепетом! – увидела внутренность твоей квартиры, твой мир, твой письменный стол, за которым ты работал, на нём цветы в синей хрустальной вазе, твои шкафы, картины, книги. Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но этим одним-единственным взглядом я впитала в себя всю атмосферу твоей квартиры, и это дало обильную пищу моим бесконечным грёзам о тебе во сне и наяву.

Это событие, этот краткий миг был счастливейшим в моём детстве. Я хотела рассказать тебе о нём для того, чтобы ты, не знающий меня, наконец почувствовал, как человеческая жизнь горела и сгорала подле тебя. Об этом событии я хотела рассказать тебе и ещё о другом, ужаснейшем, которое, увы, последовало очень скоро за первым. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всём, не замечала матери и ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я проглядела, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, дальний свойственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас; я даже радовалась этому, потому что он иногда водил маму в театр и я, оставшись одна,



могла без помехи думать о тебе, подстергать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату и сказала, что ей нужно серьёзно поговорить со мной. Я побледнела, у меня сильно забилося сердце, — уж не возникло ли у неё подозрение, не догадалась ли она о чём-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать сама казалась смущённой; она нежно поцеловала меня (чего никогда не делала) раз и другой, посадила меня рядом с собой на диван и начала, запинаясь и краснея, рассказывать, что её родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Ещё горячее забилося у меня сердце, только одной мыслью откликнулась я на слова матери, мыслью о тебе. — Но мы ведь останемся здесь? — с трудом промолвила я. — Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда прекрасная вилла. — Больше я ничего не слыхала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать вполголоса рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руки, рухнула на пол. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, беспомощный ребёнок, боролась против всемогущей воли взрослых. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня дрожит рука. Я не могла выдать свою тайну, поэтому моё сопротивление казалось просто строптивостью, злобным упрямством. Никто больше со мной не заговаривал, всё делалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; каждый день, вернувшись домой, я видела, что ещё одна вещь продана или увезена. На моих глазах разрушалась наша квартира, а с нею и моя жизнь, и однажды, придя из школы, я узнала, что у нас побывали упаковщики мебели и всё вынесли. В пустых комнатах стояли приготовленные к отправке сундуки и две складные койки — для матери и для меня: здесь мы должны были провести ещё одну ночь, последнюю, а утром — уехать в Инсбрук.

В этот последний день я с полной ясностью поняла, что не могу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела своё спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не узнаю, но вдруг — мать куда-то отлучилась — я вскочила и как была, в школьном платице, пошла к тебе. Нет, я не шла, какая-то неодолимая сила толкала меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я была готова — я и сама не знала точно, чего я хотела — упасть к твоим ногам, молить тебя оставить меня у себя, как служанку, как рабыню! Боюсь, что ты посмеёшься над одержимостью пятнадцатилетней девочки; но, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной площадке, скованная страхом, и всё же, подчиняясь какой-то неведомой силе, заставила мою дрожащую руку, словно отрывая её от тела, подняться и после короткой жестокой борьбы, продолжавшейся целую вечность, нажать пальцем кнопку звонка. Я по сей день слышу резкий, пронзительный звон и сменившую его тишину, когда вся кровь во мне застыла, когда сердце моё перестало биться и

только прислушивалось, не идёшь ли ты.

Но ты не вышел. Не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушёл за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мёртвый отзвук звонка, назад в нашу разорённую, опустошённую квартиру и в изнеможении упала на какой-то тюк. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебе, ничего другого у меня и в мыслях не было, я ещё ни о чём не знала именно потому, что ни о чём, кроме тебя, не думала; я хотела только увидеть тебя, ещё раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идёшь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную январскую ночь. Я устала, всё тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть; тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на жёстком голом полу – я даже не завернулась в одеяло, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, я судорожно поджимала ноги, руки тряслись; приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться, так холодно было в этом ужасном тёмном углу. Но я всё ждала, ждала тебя, как свою судьбу.

Наконец, – вероятно, было уже около двух или трёх часов, – я услышала, как хлопнула внизу входная дверь, и затем на лестнице раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам... Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились, показался огонёк свечи. Дрожа, держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой?

Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршанье шёлкового платья и твой тихий голос – ты возвращался домой с какой-то женщиной...

Как я пережила ту ночь, не знаю. Утром, в восемь часов, меня ввезли в Инсбрук; у меня больше не было сил сопротивляться.

Мой ребёнок вчера ночью умер – теперь я буду опять одна, если мне суждено ещё жить. Завтра придут чужие, одетые в чёрное, развязные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, моё бедное, моё единственное дитя. Может быть, придут друзья и принесут венки, но что значат цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова, слова, слова; но чем это мне поможет? Я знаю, что всё равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведённые в Инсбруке, от шестнадцати до восемнадцати лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила в своей семье. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, хорошо относился ко мне; мать, словно стараясь загладить какую-то нечаянную вину передо мной,

исполняла все мои желания; молодые люди домогались моего расположения, но я отталкивала всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной – вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала; я отказывалась посещать концерты и театры, принимать участие в пикниках. Я почти не выходила из дому – поверишь ли ты, любимый, что я едва знаю десяток улиц этого маленького городка, где прожила целых два года? Я горевала и хотела горевать, я опьяняла себя каждой каплей горечи, которой могла усугубить моё неутешное горе – не видеть тебя. И, кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти, хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе, снова и снова перебирая тысячу мелких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание; я как на сцене разыгрывала в своём воображении всё эти мелкие малозначащие случаи. И оттого, что я без конца повторяла минувшие мгновения, всё мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти и всё испытанное мной в те далекие годы я ощущаю так ясно и горячо, как если бы это только вчера волновало мне кровь.

Только тобой жила я то время. Я покупала все твои книги; когда твоё имя упоминалось в газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты, я знаю наизусть все твои книги, так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне наугад выхваченную строку, я могла бы ещё теперь, через тринадцать лет, продолжить её без запинки; каждое твоё слово было для меня как евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его связи с тобой; я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью, какие из них могут привлечь тебя, а когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя: вот тыходишь в зал, вот садишься на своё место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что один-единственный раз видела тебя в концерте.

Но к чему рассказывать обо всём этом, об исступлённом, трагически бесцельном самоистязании одинокого ребёнка, зачем это рассказывать тому, кто никогда ни о чем не подозревал, никогда ни о чем не догадывался? Впрочем, была ли я тогда ещё ребёнком? Мне исполнилось семнадцать, восемнадцать лет, – на меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только сердило меня. Любовь, или только игра в любовь к кому-нибудь, кроме тебя, была для меня немыслима, невозможна, одно уж поползновение на это я сочла бы за измену. Моя страсть к тебе оставалась неизменной, но с окончанием детства, с пробуждением чувств она стала более пламенной, более женственной и земной. И то, чего не понимала девочка, которая, повинувшись безотчётному порыву, позвонила у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью: подарить себя, отдаться тебе.

Окружающие считали меня робкой, называли дикаркой, ибо я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне зрела железная решимость. Все мои мысли и стремления были направлены на одно: назад в Вену, назад к тебе. И я добилась

своего, каким бессмысленным и непонятным ни казалось всем моё поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня как на свою дочь. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать на жизнь, и, наконец, мне удалось уехать в Вену и поступить к одному родственнику в его магазин готового платья.

Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер – наконец-то, наконец! – я очутилась в Вене? Оставив чемоданы на вокзале, я вскочила в трамвай, – мне казалось, что он ползёт, каждая остановка выводила меня из себя, – и бросилась к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, сердце пело у меня в груди. Лишь теперь ожил для меня город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом, лишь теперь ожила я сама, ощущая твою близость, тебя, мою немеркнущую мечту. Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, за горами, долами и реками, и теперь, когда только тонкое освещённое стекло в твоём окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда. Я всё стояла и смотрела вверх; там был свет, родной дом, ты, весь мой мир. Два года я мечтала об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, тёплый, мгlistый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я искать своё новое жильё.

Каждый вечер простаивала я так под твоими окнами. До шести я была занята в магазине, занята тяжёлой, изнурительной работой; но я радовалась этой беспокойной суете, потому что она отвлекала меня от мучительного беспокойства во мне самой. И как только железные ставни с грохотом опускались за мной, я бежала к твоему дому. Увидеть тебя, встретиться с тобой было моим единственным желанием; ещё хоть раз, издали, охватить взглядом твоё лицо! Прошло около недели, и, наконец, я встретила тебя, встретила нечаянно, когда никак этого не ожидала. Я стояла перед домом и смотрела на твои окна, и в эту минуту ты пересёк улицу. И вдруг я опять стала тринадцатилетним ребёнком – я почувствовала, как кровь прихлынула к моим щекам, и невольно, вопреки страстному желанию ощутить на себе твой взгляд, я опустила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я устыдилась этого малодушного бегства, – я ведь была уже не школьница и хорошо понимала, чего хочу: я искала встречи с тобой, я хотела, чтобы, после долгих сумеречных лет тоски по тебе, ты меня узнал, хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил.

Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, невзирая на метель и резкий, пронизывающий венский ветер, простаивала на твоей улице. Иногда я целыми часами ждала напрасно, иногда ты выходил, наконец, из дому в сопровождении приятелей, и два раза я видела тебя с женщинами; и тут я почувствовала, что я уже не девочка, угадала какую-то новизну, перемену в моей любви к тебе по внезапной острой боли, разрывающей мне сердце, стоило мне увидеть чужую женщину, так уверенно идущей рука об руку с тобой. Это не было неожиданностью для меня: я ведь с малых лет знала, что у тебя постоянно бывают женщины, но теперь это причиняло мне физическую боль, и я с завистливой неприязнью смотрела на эту очевидную, тесную близость с другой.

Однажды, – по-детски упрямая и гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор, – я возмутилась и не пошла к твоему дому; но каким ужасно пустым показался мне этот вечер! На другой день я опять смиренно стояла перед твоими окнами, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой для меня жизнью.

И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали тебя увидела и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случайно на улице как раз разгружали какую-то подводку, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение – о, как страшно мне было вспомнить об этом! – тот предназначенный женщинам взгляд, нежный, обволакивающий и в то же время раздевающий, тот объемлющий и уже властный взгляд, который когда-то превратил меня, ребёнка, в любящую женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал меня – я не могла и не хотела отвести глаза, – и вот ты прошёл уже мимо. У меня неистово билось сердце; невольно я замедлила шаги и, уступая непреодолимому любопытству, оглянулась: ты остановился и смотрел мне вслед. И по вниманию и интересу, с каким ты меня разглядывал, я сразу поняла, что ты меня не узнал.

Ты не узнал меня ни тогда, ни после; ты никогда не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, всё разочарование той минуты? Ведь тогда в первый раз я испытала то, на что обрекла меня судьба, – быть не узнанной тобой всю жизнь, до самой смерти. Как передать тебе моё разочарование! Видишь ли, в те два года жизни в Инсбруке, когда я неустанно думала о тебе и только и делала что мечтала о нашей будущей встрече в Вене, я, смотря по настроению, рисовала себе самые печальные картины наряду с самыми упоительными. Всё было пережито в воображении; в мрачные минуты я предвидела, что ты оттолкнёшь меня, с презрением отвернёшься от меня, потому что я слишком ничтожна, некрасива, навязчива. Я мысленно вытерпела все муки, причинённые твоей неприязнью, холодностью, равнодушием, но даже в минуты отчаяния, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, я и мысли не допускала о самом страшном, убийственном: что ты вообще не заметил моего существования. Теперь-то я понимаю, – о, ты научил меня понимать! – как изменчиво для мужчины лицо девушки, женщины, ибо чаще всего оно лишь зеркало, отражающее то страсть, то детскую прихоть, то душевное утомление, и расплывается, исчезает из памяти так же легко, как отражение в зеркале; поэтому мужчине трудно узнать женщину, если годы изменили на её лице игру света и тени, если одежда создала для неё новую рамку. Поистине мудр только тот, кто покорился своей судьбе. Но я была ещё очень молода, и твоя забывчивость казалась мне непостижимой, тем более что, непрестанно думая о тебе, я обольщала себя мыслью, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждёшь меня; как могла бы я жить, зная, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не тревожит тебя! И это пробуждение к

действительности под твоим взглядом, показавшим мне, что ничто не напомнило тебе обо мне, что ни единая, даже тончайшая, нить воспоминания не протянута от твоей жизни к моей, — было первым жестоким ударом, первым предчувствием моей судьбы.

Ты не узнал меня в тот раз. И когда через два дня при новой встрече ты взглянул на меня почти как на знакомую, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя, а только хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, встретившуюся тебе на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошёл мимо меня и, как в тот раз, тотчас же замедлил шаг, — я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо; я тоже пошла тише, я не бежала от тебя. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной: не оглядываясь, я уже знала, что сейчас услышу твой любимый голос и ты впервые обратишься ко мне. Я вся оцепенела от ожидания, и сердце так колотилось, что мне чуть не пришлось остановиться, но ты уже догнал меня. Ты заговорил со мной с твоей обычной легкостью и весёлостью, словно мы были старые знакомые, — ах, ты ведь ничего не знал, ты никогда ничего не знал о моей жизни! — с такой чарующей непринужденностью заговорил ты со мной, что я даже нашла в себе силы отвечать тебе. Мы дошли до угла. Потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе; я сказала «да». В чём я посмела бы отказать тебе?

Мы поужинали вдвоём в небольшом ресторане — помнишь ли ты, где это было? Ах нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров, ибо кем я была для тебя? Одной из сотен, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила, это было слишком большое счастье — сидеть подле тебя, слушать твой голос. Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания, как чуток ты был, как прост и естественен, без всякой навязчивости, без любезничания; с первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружественно, что одним этим ты покоришь бы меня, если бы я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания!

Было уже поздно, когда мы встали из-за стола. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я, или располагаю ещё временем. Могла ли я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой! Я сказала, что у меня ещё есть время. Тогда ты, на секунду замаявшись, спросил, не зайду ли я к тебе поболтать. — Охотно! — повинувшись непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то покорила, не то обрадовала тебя, но явно поразила. Теперь я понимаю твоё удивление: я знаю, что женщины обычно скрывают готовность отдаться, даже если втайне горят желанием, разыгрывают испуг или возмущение и уступают только после настойчивых просьб, заверений,

клятв и ложных обещаний. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь ремесло, только проститутки отвечают немедленным полным согласием на подобное приглашение или же очень юные, совсем неопытные девушки. Но в моём ответе – как мог ты об этом подозревать? – была лишь претворённая в слово упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так или иначе, ты был изумлён, я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой, с удивлением, посматриваешь на меня. Твоё безошибочное чутьё, твоё вещее знание всего человеческого сразу подсказало тебе, что какая-то загадка, что-то необычное таится в этой миловидной, доверчивой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, испытывающим вопросам я поняла, что ты стараешься разгадать эту загадку. Но я уклонилась от прямых ответов: я предпочитала показаться тебе глупой, чем выдать свою тайну.

Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я скажу тебе, что ты не можешь понять смятение, с каким я вошла в подъезд, поднялась по ступеням, какое это было пьянящее, исступленное, мучительное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слёз вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слёз. Но ты вдумайся в то, что ведь всё там было как бы пронизано моей страстной любовью, всё было символом моего детства, моей тоски: подъезд, перед которым я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, откуда я следила за тобой, когда всей душой рвалась к тебе; коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, щелканье ключа в замке – сколько раз я вскакивала, услышав этот звук! Всё детство, вся моя страсть запечатлелись на этом тесном пространстве; здесь приютилась вся моя жизнь, и теперь она бурей обрушилась на меня: ведь всё, всё сбылось, и я шла с тобой – с тобой! – по твоему, по нашему дому. Подумай, это звучит банально, но я не умею иначе сказать, – вся жизнь для меня, вплоть до твоей двери, была действительность, тупая повседневность, а за ней начиналось волшебное царство ребёнка, царство Аладина; подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую теперь вошла, и ты почувствуешь, – только почувствуешь, но никогда не поймешь до конца, любимый! – чем был в моей жизни этот неповторимый миг.

Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог заподозрить это, любимый, – я не противилась тебе, я подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не разгадал тайну моей любви к тебе, ведь она, наверное, испугала бы тебя, потому что ты любишь только всё лёгкое, невесомое, мимолетное, ты боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаёшь себя всему миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе первому, то умоляю тебя: не пойми меня превратно! Я ведь не виню тебя, ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял – я, я сама пришла к тебе, бросилась в твои объятия, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя, нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что как богата, как озарена счастьем, как напоена

блаженством была для меня эта ночь! Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что надо мной не звёздное небо. Нет, я никогда ни о чём не жалела, любимый, этот час искупил всё. И я помню, что, слыша твоё сонное дыхание, чувствуя тебя так близко подле себя, я плакала в темноте от счастья.

Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было вовремя поспеть в магазин, и, кроме того, я решила уйти раньше, чем придет твой слуга, – я не хотела, чтобы он меня видел. Когда я, уже одетая, стояла пред тобой, ты обнял меня и долго смотрел мне в лицо; мелькнуло ли у тебя воспоминание, далёкое и смутное, или просто я показалась тебе красивой оттого, что вся дышала счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и повернулась к двери. Ты спросил меня:

– Хочешь взять с собой цветы?

– Я сказала:

– Да.

– Ты вынул четыре белые розы из синей хрустальной вазы на письменном столе (о, я знала эту вазу ещё с того времени, когда ребёнком заглянула в твою квартиру). Ты дал мне эти розы, и я ещё много дней целовала их.

Мы условились встретиться ещё раз. Я пришла, и опять всё было чудесно. Ещё одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать – как я с самого детства ненавидела эти путешествия! – и обещал сейчас же известить меня, когда вернёшься домой. Я дала тебе адрес – до востребования; своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощанье дал мне розы – на прощанье!

Каждый день, два месяца подряд, я справлялась... нет, не надо, к чему описывать все эти муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя, я люблю тебя таким, каков ты есть, пылким и забывчивым, увлекающимся и неверным, я люблю тебя таким, только таким, каким ты был всегда, каким остался и поныне. Ты давно уже вернулся, я видела это по твоим освещённым окнам, но ты мне не написал. У меня нет ни строчки от тебя в этот мой последний час, ни строчки от тебя, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, ждала с долготерпением отчаяния. Но ты не позвал меня, не написал ни строчки... ни строчки...

Мой ребёнок вчера умер – это был и твой ребёнок. Это был и твой ребёнок, любимый, – дитя одной из тех трёх ночей; я клянусь тебе в этом, и ты знаешь, что перед лицом смерти не лгут. Это было наше дитя, клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе, до другого часа, когда моё дитя исторгли из меня. Моё тело казалось мне священным с тех пор, как его касался ты. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимолетно появлявшимися в моей жизни? Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки, наш ребёнок, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня – быть может, с



испугом, быть может, только удивленно, – ты спросишь меня, любимый, почему все долгие годы я молчала о нашем ребёнке и говорю о нём только сегодня, когда он лежит здесь в темноте, уснув навеки, когда он скоро уйдёт и уже никогда, никогда не вернётся. Но как я могла сказать тебе? Ты ни за что не поверил бы мне, незнакомой женщине, случайной подруге трёх ночей, без сопротивления, по первому твоему слову отдавшейся тебе, ты не поверил бы мне, безыменной участнице мимолетной встречи, что я осталась тебе верна, тебе, неверному, и лишь с сомнением признал бы ты этого ребёнка своим! Никогда, даже если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайной мысли, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, заботу о чужом ребёнке. Ты отнёсся бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, смутная, неуловимая тень недоверия. Этого я не хотела. И потом я ведь знала тебя; я знала тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя, и я понимала, что тебе, любящему только всё беззаботное, лёгкое, ищущему в любви только игру, было бы тягостно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя как-то связанным со мной. И ты – я знаю, это не зависело бы от твоей воли, – возненавидел бы меня за то, что я связала тебя. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут я стала бы тебе в тягость, стала бы тебе ненавистна, – я же в своей гордости хотела, чтобы ты всю жизнь думал обо мне без забот и тревоги. Я предпочитала взять всё на себя, чем стать для тебя обузой, я хотела быть единственной среди любивших тебя женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но, увы, ты никогда обо мне не думал, ты забыл меня.

Я не виню тебя, любимый, нет, я не виню тебя! Прости мне, если порою капля горечи просачивается в эти строки, моё дитя, наше дитя лежит ведь мёртвое возле меня под мерцающими свечами; я грозила кулаком Богу и называла его убийцей, мысли у меня мешаются. Прости мне жалобу, прости её мне! Я ведь знаю, ты добр и отзывчив в глубине души, ты помогаешь любому, помогаешь незнакомым людям, всем, кто бы ни обратился к тебе. Но твоя доброта особого свойства, она открыта для всякого, и всякий волен черпать из неё столько, сколько могут захватить его руки; она велика, безгранична, но, прости меня, – она ленива, она ждёт напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят, помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты – позволь тебе это сказать откровенно человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Один раз, когда я ещё была ребёнком, я видела через глазок, как ты подал милостыню нищему, который позвонил у твоей двери. Ты дал ему денег, прежде чем он успел попросить, и дал много, но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушёл; и казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я навсегда запомнила, как торопливо и смущенно, уклоняясь от благодарности, ты оказал помощь этому нищему. Вот почему я никогда и не

обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда и не имея уверенности, что это твой ребёнок, ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег, но всё это с тайным желанием поскорее покончить с этой неприятностью; я даже думаю, ты стал бы уговаривать меня предотвратить появление ребёнка. А этого я боялась больше всего – потому что чего бы я не сделала, если бы ты этого пожелал, как могла бы я в чём-нибудь отказать тебе. Но это дитя было для меня всем; оно ведь было от тебя, повторение тебя самого, но всё же не ты, счастливый, беззаботный, которого я не могла удержать, а ты, дарованный мне навсегда, – так я думала, – ты, заключённый в моём теле, не отделимый от моей жизни. Теперь я, наконец, обрела тебя, я могла ощущать всем существом своим, как зреет во мне твоя жизнь, могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жаждой ласки горела душа. Вот почему, любимый, я была так счастлива, зная, что ношу твоего ребенка. Вот почему я скрыла это от тебя, – теперь ты уже не мог от меня ускользнуть.

Любимый, я пережила не только месяцы счастья, рисовавшиеся мне в мечтах; на мою долю выпали и месяцы ужаса и муки, полные отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я в последние месяцы, ходить не могла, так как родственники заметили бы моё положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не хотела и жила тем, что продавала кое-какие сохранившиеся у меня ценные вещи. За неделю до родов прачка украла у меня из шкафа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют. Там, куда от горькой нужды приходят только самые бедные, самые отверженные и забытые, там, в омуте нищеты, родилось твоё дитя. В приюте было ужасно – всё казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга; только общее несчастье, общая мука загнала нас всех в эту душную, пропитанную хлороформом и кровью, полную криков и стонов палату. Все унижения, какие приходится претерпевать обездоленным, стыд, нравственный и физический, испытала я там наравне с проститутками и больными, страдая от вынужденной близости к ним, от цинизма молодых врачей, которые, усмехаясь, откидывали одеяла и с фальшиво учёным видом трогали незащищенных женщин, от алчности сиделок; о, там человеческую стыдливость распинают взглядами и бичуют словами. Табличка с именем – вот всё, что остаётся от тебя, а то, что лежит на койке, – просто кусок содрогающегося мяса, предмет, выставленный напоказ для изучения; да, женщины, которые в своём доме дарят ребенка любящему, заботливому мужу, – они не знают, что значит рожать одинокой, незащищенной, чуть ли не на лабораторном столе! И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно вспоминаю о битком набитой смрадной палате, полной стонов, истошного крика и грубого смеха, об этой клоаке позора.

Прости, прости мне, что я об этом говорю. Но я делаю это в первый и в последний раз; никогда, никогда уже не заговорю я об этом. Я молчала одиннадцать лет и скоро умолкну навеки; но хоть один раз я должна дать себе волю, должна крикнуть о том, какой дорогой ценой достался мне ребенок,

который был счастьем моей жизни и теперь лежит в кроватке бездыханный. Я давно уже всё это забыла, забыла в улыбке ребёнка, в его смехе, в своей радости; но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я не могу не кричать, я должна облегчить душу хоть один-единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только Бога, сделавшего бессмысленной перенесённую мной муку. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю, и никогда я в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело моё корчилось в родовых муках, даже в мгновения, когда боль разрывала мне душу, я не обвиняла тебя перед Богом; никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе; я всегда любила тебя, всегда благословляла нашу встречу. И если бы повторились те страшные часы в приюте и я знала бы наперёд, что меня ожидает, я пошла бы на это ещё раз, любимый мой, ещё раз и тысячу раз!

Наш ребёнок вчера умер – ты никогда не знал его. Никогда, даже в мимолетной случайной встрече твой взгляд не скользнул по маленькому цветущему созданию, рождённому тобой. Я долго скрывалась от тебя; теперь, когда у меня был ребёнок, я, кажется, даже любила тебя более спокойной любовью, по крайней мере она уже не причиняла мне нестерпимых страданий. Я не хотела делить себя между тобой и сыном, и я отдала себя не тебе, баловню счастья, чья жизнь проходила мимо меня, а ребёнку, которому я была нужна, которого я должна была кормить, которого я могла, целовать и прижимать к груди. Я словно освободилась от власти рока, осудившего меня на страсть к тебе, с тех пор как появился на свет другой «ты», поистине принадлежавший мне; лишь редко, очень редко я смиренно приближалась к твоему дому. Но ко дню твоего рождения, из года в год, я посылала тебе белые розы, точно такие, какие ты подарил мне тогда, после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти десять, за эти одиннадцать лет, кто их тебе посылает? Быть может, ты вспомнил о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю и никогда не узнаю твоего ответа. Только раз в году протянуть их тебе из мрака, воскресить память о той встрече – большего я не требовала.

Ты не знал нашего бедного ребёнка, – сегодня я раскаиваюсь, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика, ты никогда не видел, как он улыбался и широко раскрывал свои тёмные, вдумчивые глаза – твои глаза! – озаряя их лучистым, радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой весёлый, такой милый. В нём по-детски повторилась вся твоя живость, твоё стремительное, пылкое воображение. Он мог часами самозабвенно играть с чем-нибудь, как ты играешь с жизнью, а потом подолгу просиживать, сосредоточенно хмуря брови, над своими книжками. Он всё больше становился тобой. В нём начала уже явственно проступать присущая тебе двойственность, смесь серьёзности и легкомыслия, и чем больше он становился похож на тебя, тем сильнее я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока, его тетрадки были самые опрятные во всём классе, и как он был хорош в своём черном бархатном костюме или в белой матросской курточке! Он всегда оказывался самым изящным, где бы ни появлялся; когда я

гуляла с ним по пляжу в Градо, женщины останавливались и гладили его длинные светлые волосы; когда он в Земмеринге катался на санках, люди с восхищением оглядывались на него. Он был такой миловидный, такой нежный и ласковый. В минувшем году он поступил в интернат Терезианума и носил свою форму и маленькую шпагу, точно паж восемнадцатого века, — теперь на нём только рубашечка, и он лежит, бедный, с посиневшими губами, и руки сложены на груди.

Но ты, может быть, спросишь, как я могла воспитывать ребёнка в такой роскоши, как сумела я доставить ему все радости лёгкой, беззаботной жизни высшего общества. Любимый мой, я говорю с тобой из мрака, я не стыжусь, я скажу тебе, но только не пугайся, любимый, — я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавала себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники; сначала я искала их, — потом они искали меня, потому что я была — замечал ли ты это когда-нибудь? — очень хороша собой. Все, кому я отдавалась, были благодарны мне, привязывались ко мне, все любили меня, — только ты не полюбил меня, только ты, мой любимый!

Презираешь ли ты меня теперь, после этого признания? Нет, я знаю, ты не презираешь меня; я знаю, ты всё понимаешь, поймешь и то, что я поступала так ради тебя, ради твоего второго Я, ради твоего ребёнка. Однажды, в палате родильного приюта, я прикоснулась к ужасам нищеты, я знала, что бедного всегда топчут, унижают, что в этом мире он всегда жертва, и я ни за что на свете не хотела, чтобы твоё дитя, твоё светлое, чудное дитя выросло на дне, среди голытьбы, среди дикости и пошлости улицы, в зачумлённом воздухе задворок. Я не хотела, чтобы его нежные губы произносили грубые слова, чтобы его белого тельца касалось жёсткое, заскорузлое бельё бедноты, — у твоего ребёнка должно было быть всё, все богатства, все блага земные, он должен был подняться до тебя, до твоей жизненной сферы.

Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Для меня в этом не было жертвы, ибо то, что принято называть честью или позором, в моих глазах не имело значения; ты не любил меня, ты, единственный, кому по праву принадлежало моё тело, а всё остальное было мне безразлично. Ласки мужчин и даже их искренние чувства не вызывали во мне отклика, хотя иных я очень уважала и, памятуя о своей собственной неразделённой любви, от души жалела. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали. Один граф, пожилой вдовец, любил меня, как родную дочь, это он обивал пороги, чтобы выхлопотать безродному ребёнку, твоему ребёнку, приём в Терезианум. Три, четыре раза просил он моей руки, — я могла бы быть теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле, могла бы отбросить все заботы, так как ребёнок имел бы нежного, обожающего отца, а я спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась, несмотря на то, что причиняла ему боль своим отказом. Быть может, я поступила опрометчиво, и я жила бы теперь где-нибудь в тиши, и моё ненаглядное дитя было бы со мной, но — почему не признаться тебе? — я не хотела себя связывать, хотела в любой час быть свободной для тебя.

Где-то, в сокровенной глубине души, всё ещё таилась давняя детская мечта, что ты еще позовешь меня, хотя бы только на один час. И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя всё, лишь бы быть свободной и явиться по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с самого пробуждения от детства, как не ожиданием, ожиданием твоей прихоти!

И этот час действительно настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нём, мой любимый! Ты не узнал меня и в этот раз – никогда, никогда ты не узнавал меня! Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в Пратере, на улице – каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня: я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину; говорили, что я хороша; я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты признать во мне робкую девушку, которую видел в полумраке своей спальни! Иногда с тобой раскланивался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин; ты отвечал на поклон и бросал взгляд на меня, но этот холодный взгляд был просто данью вежливости, знаком минутного интереса; это был не знающий меня, чужой, страшно чужой взгляд. Помню, однажды это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, причинило мне жгучую боль: это было в театре, я сидела в ложе со своим другом, а ты – в соседней ложе. Началась увертюра, свет погас, и я больше не могла видеть твоё лицо, но я слышала рядом с собой твоё дыхание, как тогда, в ту ночь, а на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая, нежная рука. И мной овладело неодолимое желание наклониться и смиренно поцеловать эту чужую, столь любимую руку, когда-то ласкавшую меня. Взволнованная звуками музыки, я едва удерживалась, чтобы не прижаться к ней губами, не уступить безумному порыву. После первого акта я попросила моего друга увести меня. Я больше, не могла сидеть рядом с тобой в темноте – так близко и... так бесконечно далеко.

Но час настал, он настал ещё раз, последний раз в моей разрушенной жизни. Это произошло почти год тому назад, на другой день после дня твоего рождения.

И странно: я весь день думала о тебе, потому что день твоего рождения я всегда справляла, как праздник. Рано, рано утром я вышла из дому, купила белые розы и, как всегда, послала их тебе, в память о забытом тобой часе. Днём я поехала с мальчиком кататься, потом повела его в кондитерскую Демеля, а вечером в театр, – я хотела, чтобы и он, ни о чём не подозревая, с ранних лет запомнил этот день, как некий таинственный праздник. На завтра, вечером, я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым фабрикантом из Брюнна, с которым жила уже два года; он обожал меня, окружал заботами, хотел, так же как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, казалось, беспричинный отказ, хотя засыпал меня и ребёнка подарками; сам он был человек достойный, и его несколько тупая, но беззаветная преданность заслуживала иного ответа. На концерте мы встретили знакомых и все вместе поехали ужинать в ресторан на Рингштрассе, и вот среди смеха и шуток я

предложила заглянуть ещё в танцевальный зал – в Табарен. Обычно, когда меня звали в такие места, я отказывалась, потому что слишком шумное, пьяное веселье, неизменно царившее там, было мне противно, но на этот раз какая-то необъяснимая, магическая сила заставила меня высказать пожелание, с бурным одобрением подхваченное всей компанией. Я и сама не знала почему, но меня неудержимо тянуло туда, словно что-то необычайное и неожиданное предстояло мне там. Мои спутники, привыкшие во всём угождать мне, тотчас встали, и мы отправились в Табарен, пили там шампанское, и на меня нашла такая неистовая, почти мучительная весёлость, какой я никогда не испытывала. Я пила и пила, подхватывала гривуазные песенки – ещё немного, и я пошла бы танцевать или начала хохотать на весь зал. Но вдруг словно ледяным холодом или огненным жаром обдало моё сердце – я увидела тебя: ты сидел за соседним столиком с приятелями и смотрел на меня восхищенным и полным желания взглядом, тем взглядом, который всегда проникал в самые недра моего существа. Впервые за десять лет ты вновь смотрел на меня со всей присущей тебе силой безотчётной страстности. Я вся задрожала и чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших за нашим столиком не заметил моего смятения, оно затерялось в раскатах смеха и музыки.

Твой взгляд становился всё упорней, всё пламеннее, он жёг меня как огнём. Я силилась понять, узнал ли ты меня, наконец, или я для тебя опять новая, другая, незнакомая женщина? Кровь прихлынула к моим щекам, я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как взволновал меня твой взгляд. Едва уловимым кивком головы ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла в вестибюль. Затем ты нарочито громко потребовал счёт, простился с приятелями и вышел, ещё раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала, как в ознобе, меня била лихорадка, я не могла выдать из себя ни слова, не могла смирить охватившее меня волнение. Как раз в эту минуту негритянская пара, дробно стуча каблуками и пронзительно вскрикивая, начала исполнять модный замысловатый танец, все взоры обратились на них, и, пользуясь этим, я встала, сказала моему другу, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой.

Ты стоял в вестибюле у вешалок и ждал меня; когда я подошла, лицо твоё просияло. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу, я сразу увидела, что ты не узнал меня, не узнал во мне ни подростка, ни девушки давно минувших лет; опять тебя влекло ко мне, как к чему-то новому, неизвестному.

– Найдётся у вас как-нибудь и для меня часок? – спросил ты, и по твоему уверенному, непринуждённому тону я поняла, что ты принимаешь меня за одну из тех женщин, которых можно купить на вечер.

– Да, – произнесла я то же трепетное, но само собой разумеющееся «да», которое однажды, более десяти лет назад, сказала тебе робкая девушка на сумеречной улице.

– Когда мы могли бы увидеться? – спросил ты.

– Когда хотите, – ответила я: перед тобой у меня не было стыда. Ты

удивлённо взглянул на меня, с таким же недоверчивым любопытством и недоумением, как в тот вечер, когда я точно так же поразила тебя поспешностью, с какой я дала согласие.

– Можно и сейчас? – несколько нерешительно спросил ты.

– Да, ответила я, – идёт, – и уже направилась к вешалке, чтобы взять своё манто.

Тут я вспомнила, что номерок от нашего платья остался у моего друга. Вернуться и попросить номерок было невозможно без длительных объяснений; но и пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, о котором я мечтала столько лет, я не хотела. Не колеблясь ни минуты, я набросила на вечернее платье шаль и вышла в сырую туманную ночь, не заботясь о своём манто, не думая о добром, любящем меня человеке, на чьи средства я жила уже несколько лет и которого я поставила в самое нелепое и унижительное положение: у всех на глазах его любовница, прожившая с ним два года, убегает по знаку первого встречного. О, я глубоко сознавала всю низость и неблагодарность, всё бесстыдство своего поведения, я понимала, что поступаю нелепо и наношу хорошему человеку и верному другу смертельную обиду, понимала, что порываю с налаженным существованием, – но что значила для меня дружба, сама жизнь по сравнению с нетерпеливым желанием вновь ощутить твои губы, услышать нежную ласку твоих слов? Так я любила тебя: теперь я могу сказать тебе это, когда всё прошло, всё миновало. Мне кажется, если бы ты позвал меня с моего смертного одра, у меня явились бы силы встать и пойти за тобой.

У подъезда стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою близость и была так же опьянена, так же по-детски счастлива, как при нашей первой встрече. Я опять поднималась по лестнице впервые после более чем десятилетнего промежутка. Нет, нет, я не могу тебе рассказать, как в эти мгновения я ощущала всё вдвойне, в прошлом и настоящем, и во всём опять-таки только одного тебя. В твоей комнате мало что изменилось: прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели, и всё было так знакомо мне! А на письменном столе стояла ваза с розами – с моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе в память о той, кого ты всё-таки не вспомнил, всё-таки не узнал даже теперь, когда она опять была подле тебя и ты соединял с ней уста и руки. Но всё же мне отрадно было видеть, что ты хранишь мои цветы, что вокруг тебя витает частица моего *Я*, дыхание моей любви.

Ты обнял меня. Снова я осталась у тебя на всю долгую ночь. Но и тут ты не узнал меня. Счастливая, принимала я твои ласки и видела, что твоя страсть не знает разницы между любимой и купленной женщиной, что ты предаёшься своим желаниям со всей беспечной расточительностью твоей натуры. Ты был так нежен и чуток со мной, женщиной, приведённой из ночного ресторана, так дружески сердечен и рыцарски почтителен и в то же время так страстен в наслаждении, что я, пьянея от счастья, как десять лет назад, опять со всей силой

почувствовала твою неповторимую двойственность — высокую одухотворенность в любовной страсти, когда-то покорившую меня, полуребёнка. Я не встречала человека, который так пламенно отдавался бы во власть минуты, с такой щедростью раскрывал бы другому сокровеннейшие глубины своей души, — чтобы затем, увы, всё померкло в какой-то безграничной, почти противоестественной забывчивости. Но и я забыла о себе. Кто была я, здесь, в темноте, подле тебя? Страстно влюблённая девочка, или мать твоего ребёнка, или чужая женщина из ресторана? Ах, всё было так знакомо, уже пережито и вместе с тем так упоительно ново в ту блаженную ночь! И я молилась, чтобы ей не было конца.

Но утро настало; мы встали поздно, и ты пригласил меня позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в столовой невидимой услужливой рукой, и непринуждённо болтали. Ты опять говорил со мной просто и сердечно, без нескромных вопросов, без малейшего любопытства. Ты не спрашивал, ни кто я такая, ни где живу; я была для тебя только случайным приключением, безыменной минутной прихотью, бесследно исчезающей из памяти, как дымок рассеивается в воздухе. Ты рассказал мне, что тебе предстоит большое путешествие в Северную Африку, которое продлится два или три месяца; я задрожала от страха, радость сменилась отчаянием, ибо в ушах у меня уже звучало: «Конец, всё прошло и позабыто!» Мне хотелось броситься к твоим ногам и закричать: «Возьми меня с собой, тогда ты узнаешь меня, наконец, наконец-то после стольких лет!» Но я была так робка, малодушна, так рабски покорна тебе! Я только сказала:

— Как жаль!

Ты, улыбаясь, взглянул на меня:

— Тебе правда жаль?

Тут я не выдержала, поддалась внезапному порыву. Я встала и долгим, пристальным взглядом посмотрела тебе в лицо. Потом сказала:

— Тот, кого я любила, тоже всегда уезжал. — Я смотрела на тебя, смотрела прямо в глаза. «Сейчас, сейчас он узнает меня!» Я ждала, трепеща от страха и надежды.

Но ты улыбнулся мне и сказал в утешение:

— Из путешествий ведь возвращаются.

— Да, — ответила я, возвращаются, но успев забыть.

Должно быть, в тоне, каким я это сказала, прозвучало что-то необычное, слишком страстное, потому что теперь и ты встал и посмотрел на меня с удивлением и тёплой лаской. Ты взял меня за плечи.

— Хорошее не забывается, тебя я не забуду, — сказал ты и погрузил взгляд в самую глубину моих глаз, словно ты хотел запечатлеть в памяти мой образ. И чувствуя, как проникает в меня этот ищущий взгляд, впитывающий в себя всё моё существо, я подумала, что, наконец, наконец пелена упадёт с твоих глаз. «Он узнает меня, узнает меня!» Душа моя ликовала от этой мысли.

Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня, и никогда я не была столь



чужда тебе, ибо... ибо иначе как мог бы ты сделать то, что сделал через несколько минут? Ты поцеловал меня, ещё раз страстно поцеловал, так что мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы. И вот, стоя перед зеркалом, я вдруг увидела – я чуть не упала от ужаса и стыда, – я увидела, как ты украдкой сунул в мою муфту две крупных бумажки. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, не ударить тебя по лицу, – ты платил за эту ночь мне, любившей тебя с детства, матери твоего ребёнка! Я была для тебя только проституткой из Табарена, не больше, ты заплатил мне, заплатил! Мало того, что я была забыта тобой, я должна была ещё снести от тебя унижение.

Я начала торопливо хватать свои вещи. Только бы уйти, поскорей уйти, – мне было слишком больно. Я взяла шляпу она лежала на письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут мной овладело властное, неудержимое желание: я решила сделать ещё одну попытку:

– Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз?

– С удовольствием, ответил ты и тотчас вынул из вазы цветок.

– Но, может быть, тебе подарила их женщина, – женщина, которая тебя любит?

– Может быть, – сказал ты, – не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их и люблю.

Я взглянула на тебя.

– Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой!

Ты изумлённо взглянул на меня. Я твёрдо смотрела тебе прямо в глаза. «Узнай меня, узнай же меня, наконец!» кричал мой взгляд. Но твой взгляд светился лаской и неведением. Ты ещё раз поцеловал меня. Но ты меня не узнал.

Я поспешно направилась к дверям, потому что слёзы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. Я так бежала, что в прихожей чуть не столкнулась с твоим слугой. Он проворно отскочил в сторону, услужливо распахнул передо мной дверь, и в этот миг – ты слышишь? – в этот краткий миг, когда я сквозь слёзы взглянула на старика, в его глазах вспыхнул какой-то свет. В этот миг – ты слышишь? – в этот единый миг Иоганн узнал меня, хотя ни разу не видел меня с моего детства. Мне хотелось стать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только выхватила из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня – в эту секунду он, быть может, больше отгадал обо мне, чем ты за всю свою жизнь. Все, все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты, только ты один не помнил меня, только ты один ни разу не узнал меня!

Мой ребёнок умер, наш ребёнок, теперь мне некого любить на всём свете, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, никогда, никогда не узнающий меня, проходящий мимо меня, как мимо прозрачной воды, наступающий на меня, как на камень, ты, неизменно обрекающий меня на разлуку и вечное ожидание? Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребёнке. Но это был

твой ребёнок: он жестоко покинул меня и отправился в путешествие, он забыл меня и больше не вернётся. Я опять одинока, одинока, как никогда, у меня ничего нет, ничего нет от тебя: ни ребёнка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти, и если бы ты услышал моё имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя, почему не уйти, раз ты ушёл от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу вселить своё горе в твой озарённый радостью дом. Не бойся, я не стану больше докучать тебе, прости мне, я должна была излить душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была всё высказать тебе, – потом я опять скроюсь во мраке и буду молчать, как всегда молчала перед тобой. Но ты не услышишь моего стога, пока я жива, – только когда я умру, получишь ты это завещание, завещание женщины, любившей тебя больше, чем все другие, и которой ты никогда не узнавал, всю жизнь ожидавшей тебя и не дождавшейся твоего зова. Быть может, быть может, ты позовёшь меня тогда, и я в первый раз нарушу верность тебе: я не услышу тебя из могилы. Я не оставлю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил; никогда ты не узнаешь меня, никогда. Такова была моя судьба в жизни, пусть будет так и в моей смерти. Я не позову тебя в мой последний час, я ухожу, и ты не знаешь ни моего имени, ни моего лица. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть.

Я больше не могу писать... такая тяжесть в голове... всё тело ломит, у меня жар... кажется, мне сейчас придётся лечь. Может быть, скоро всё кончится, может быть, хоть раз судьба сжалятся надо мной, и я не увижу, как унесут моё дитя... Я больше не могу писать... Прощай, любимый, прощай, благодарю тебя. Всё, что было, было хорошо, вопреки всему... я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо – я сказала тебе всё, ты теперь знаешь, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет не хватать меня – это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной, светлой жизни... я не омрачу её своей смертью... это утешает меня, любимый.

Но кто... кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза опустеет, лёгкое дуновение моей жизни, раз в год овевавшее тебя, – развеется и оно! Любимый, послушай, я прошу тебя... это моя первая и последняя просьба к тебе... исполни её ради меня: каждый год, в день твоего рождения – ведь это день, когда думают о себе, – покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в Бога и не хочу панихид, я верю только в тебя, я люблю только тебя и жить хочу только в тебе... ах, только один раз в году, незаметно и неслышно, как я жила подле тебя... Прошу тебя, исполни это, любимый... это моя первая просьба к тебе и последняя... благодарю тебя... люблю тебя, люблю... прощай...

Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом долго сидел задумавшись.

Смутные воспоминания вставали в нём — о соседском ребёнке, о девушке, о женщине в ночном ресторане, но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, мерцающего под водой. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чём-то жила в нём, но о чём — он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел всё это во сне, в глубоком сне, но только во сне.

Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста, впервые за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул; ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание бессмертной любви; что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни, как о бесплотном видении, как о далёкой страстной музыке.

